

Отец умерал. Поверить в это было ему трудно, осознать не хотелось и – тем не менее. . .

Перед Новым годом, собираясь к жене и сыну в Болгарию, я зашёл к нему. Отец лежал на диване, вставать ему уже было нелегко, однако настроение у него “по таким пустякам” не сильно портилось.

– Эх, если бы мне было сейчас хотя бы шестьдесят. . . – пошутил он и подмигнул мне.

Сунул руку под тельняшку на груди (ему нравились тельняшки), вынул крестик:

– Видишь, это мне священник повесил – твоя сестра сегодня приводит. . . Хороший мальчик, мы с ним душевно поговорили. Теперь осталось партийный билет себе на хрен приспособить, и у меня будет полный комплект. . .

Потом сестра рассказала: тот священник (бывший десантник) проговорил с отцом больше трёх часов, деньги взять отказался и заявил, будто это он должен быть благодарным за то, что судьба свела его с таким человеком.

– Может, мне сейчас не уезжать? – спросил я.

– Поезжай, поезжай, – ответил отец, – тебя ждут. А я пока умирать не собираюсь. Вернёшься – ещё увидимся.

Но увидеться уже не пришлось. Через несколько дней я вылетел обратно в Москву – на похороны. Ушёл он 2 января – как бы специально пережив первое число, чтоб старший сын Владимир не связывал день своего рождения, 1 января, с днём его смерти.

А тогда. . .

– Знаешь, Катя, – сказал он моей сестре, – наверное, всё-таки я умираю.

Сказал спокойно, без горечи.

“Смерти не боюсь, – слышал я от него раньше, – боюсь старости”.

Было ему восемьдесят шесть лет. За два года до этого с ним приключился инсульт. Сестре (она врач по профессии) удалось сразу же отвезти отца в больницу, где очень быстро сделали операцию. И уже через три месяца на даче он “ласточкой” прыгал в речку с берегового бугра.

* * *

Мать умерла на пять лет раньше. На поминках отец налил себе полный стакан водки:

– Как я встретил её – так и провожу. . .

Выпил. Тут же налил снова, столько же.

Не закусывая, выпил. . . И ушёл спать.

Встретил он мать в Днепропетровске, в ресторане — пришла она туда (это уже по её рассказу) со своими однокурсниками по медицинскому институту. И сразу приглянулась ему — молодому лейтенанту, недавно окончившему лётное училище. Он попытался познакомиться, но девушка не обращала на него внимания, целиком поглощённая выступлением какого-то местного поэта. Было это в 1936 году.

С тех пор поэтов отец не жаловал. И когда окончательно уяснил для себя, что я собираюсь стать поэтом, отмечал иронично:

— Поэзия? “Моя корова захотела понюхать свежих лепестков”...

Тогда, в ресторане, чтоб не остаться незамеченным, он налил себе стакан водки, встал из-за своего стола и выпил за здоровье моей будущей матери. А через несколько минут для усиления эффекта повторил.

* * *

Однополчанин отца, в годы войны ещё совсем юный моторист Алексей Крайнюков, ставший затем известным художником, оставил его изображение на двух картинах, написанных по фотографиям и по памяти. Оригинал одной из них, “Командир эскадрильи Руденко”, где отец (там ему нет и тридцати) в лётном шлеме и в зимнем комбинезоне, перетянутом парашютными ремнями, стоит возле пропеллера своего самолёта, находится где-то в частной коллекции. В семье остались только фотоснимки картины.

Другая — большой портрет отца в военном кителе со всеми орденами, подарок художника, — висит на стене у моей сестры. Портрет очень строгий, взгляд отца — прямой и жёсткий, бескомпромиссный. Таким ли был этот человек — сталинский сокол, как его называли?

Иногда пересматриваю хороший документальный фильм, который легко найти в интернете, — “Последний парад Василия Сталина”.

Это уже где-то в 1952 году. Скорее всего, в Кубинке (там находился штаб Военно-воздушных сил Московского военного округа) или где-то рядом. Хотя, может быть, и ошибаюсь: в этом очерке я решил рассчитывать только на свою память и ни в интернете, ни в семейном архиве ничего не уточнять. Вот — на трибуне — офицеры, смотря в небо на пролетающие самолёты. Василий Иосифович Сталин, командующий ВВС МВО. Рядом с ним — начальник политотдела (или исполняющий обязанности) — Анатолий Владимирович Руденко — в белой парадной форме, всё ещё с полковничьими погонами; как раз тогда ему должны были присвоить генеральское звание. Он улыбается — красивый и мужественный. Ему тридцать восемь лет. А меня ещё и в замысле не было...

После войны отец прослужил три года в Германии в составе оккупационных войск, в Бранденбурге и познакомился с прилетевшим туда по каким-то армейским делам Василием. Оба они были, как теперь говорят, харизматическими личностями. Посидели вместе, выпили, поговорили, понравились друг другу, и Василий пригласил боевого комиссара полковника Руденко на службу к себе в Московский военный округ.

Мать моя относилась к Василию настороженно, не любила его за то, что, по её словам, он втягивал отца в офицерские попойки. Двух лётчиков связывали не только служебные отношения, они дружили. И выпить отец мог при случае много, однако голову никогда не терял. Это мать признавала.

— Василий был и пьяница, — говорила она, — и бабник... И куда шли жаловаться обиженные им, то есть обманутые в своих ожиданиях женщины? В партийную организацию. Требовали, чтоб на Василия повлияли. А что отец мог сыну Вождя по этому поводу сказать!

Видя, как морщится мать, я воздержался от по-юношески хамского вопроса: “А на папу и жаловаться бабам, наверное, было бы некому?..”

Хамства мне, семнадцатилетнему, хватало... Но в интересах истины отмечу: отец, скорее всего, в воспитательных целях, не раз получал меня, заявляя, что он однолюб, что все у нас в роду были такими, соответственно, и я должен быть таким...

“Как же так? — пытался я возражать ему. — Ведь твой отец, мой дед, женился дважды. А прадед или прапрадед — тот, что был мелкопоместным дворянчиком в Хохляндии, — по твоим же словам, прогулял и проиграл в карты своё имение, а потом выкрал цыганку из табора...”

“Дед твой женился во второй раз, когда овдовел, — одёрнул меня отец. — Что касается прапрадеда, то, во-первых, не в Холландии, а на Украине. А цыганка, ну, что ж, — это жизнь... Он же не просто поразвлечётся её выкрал — она ему детей родила. Так что и в тебе есть цыганская кровь”.

Когда я расспрашивал его о Василии Сталине, отец отвечал коротко:

— Смелый был лётчик.

— А как человек? — не унимался я.

— Человек “заводной”, увлекающийся.

— Правда, что бабник?

— Ну... бывали случаи...

— Например?

— Что ты всякой ерундой интересуешься? Например, например... Сам я свидетелем не был. На фронте с ним не служил. Рассказывали... Отдан, например, приказ о наступлении, а Васю два дня найти не могут — на хуторе у какой-то молодухи завис...

В сентябре 1939 года отец участвовал в так называемом Польском походе Красной армии, затем в том же году — в зимней войне с Финляндией. Вернулся оттуда с обморожениями (морозы стояли ниже тридцати градусов). Тему этих двух войн он не желал комментировать.

Служить вернулся в прирезанной у поляков Львов. Там они и обретались с матерью до самого начала Великой Отечественной.

За первый день войны отца наградили орденом Боевого Красного Знамени (в дальнейшем он станет полным кавалером этого ордена).

О том первом дне — 22 июня, когда германские войска перешли границу, — стоит рассказать.

Офицеры ночевали в ближнем к своему аэродрому селе. В ту ночь несколько лётчиков, в том числе и отец, до утра засиделись за игрой в карты. И уже на рассвете, услышав взрывы, поначалу решили, что идут какие-то военные учения, о которых им не сообщили. А это немцы бомбили аэродром...

Ещё не понимая до конца, что происходит, лётчики на машинах рванулись к аэродрому. Многие самолёты горели на земле, а немецкая атака продолжалась.

Четыре “истребителя” удалось поднять в воздух, и они тут же вступили в бой. Вёл их отец... Тогда, в том первом бою он сбил два вражеских самолёта. За это и получил орден.

Фронтовые газеты не раз писали о нём. Помню названия статей: “Командир эскадрильи Руденко”, “Подвиг майора Руденко”, “Летающий комиссар”...

Да, отец был одновременно и лётчик, и политработник — “летающий комиссар”, а таких насчитывалось немного.

Чтоб стать комиссаром, специального образования не требовалось, достаточно было членства в партии и умения руководить людьми. Это уже после войны отец заочно окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.

* * *

Помню, как ещё совсем маленьким мальчиком я очень гордился, когда отец в военной форме с орденскими планками выходил со мной из дома. Казалось, что все мальчишки вокруг мне завидуют. Такую же гордость испытывал, рассматривая и перебирая его ордена. Особенно мне нравился орден Александра Невского, больше, чем Орден В. И. Ленина...

И, недоумевая, как такое возможно, глазел на лежавшие в коробке с орденами серебряные часы, чуть оплавившиеся на руке отца в горящем самолёте.

— Почему же ты с парашютом тогда не выпрыгнул? — спросил я позже.

— Прыгнул, но не сразу — ранен был, — ответил он.

— А страшно с парашютом прыгать?

— В такие минуты о страхе не думаешь. Просто вылезает из кабины на крыло и — вниз...

Летал отец на истребителях. Сначала на так называемых “ишаках” (И-16, “истребитель шестнадцатый”), потом на “Мигах”. Прыгал с парашютом из подбитых самолётов три раза. И однажды, спасая повреждённую в бою машину, сумел посадить её в поле на нашей территории.

На его счету — около четырёхсот боевых вылетов и четырнадцать сбитых немецких самолётов. Четыре “мессершмитта” он сбил в лобовых атаках.

— Папа, это же сумасшедшее самоубийство — идти друг на друга лоб в лоб! А если никто не отвернёт в сторону? Оба самолёта расшибутся!

— Случалось во время войны. Очень редко. Но обычно немцы не выдерживали. На подлёте уходили вверх. Тут главное успеть брюхо ему очередью вспороть. Или хвост поджечь, если вниз уходит...

— А ты немцев убивал? Так, чтоб из пистолета, чтоб в глаза смотреть, или гранатой? — спрашивал я, по-детски замирая.

Отец хмурился:

— Я сбивал самолёты. Тут обычно гибель врага не видишь. А то, о чём ты спрашиваешь, — нет, не было.

Его самого, спрыгнувшего с парашютом, немецкий лётчик пытался расстрелять из пулемёта в воздухе. Одна пуля задела ногу, другая чиркнула по большому пальцу правой руки. Тогда отец перетянул стропы парашюта, чтоб ускорить падение, и спасся.

* * *

Когда немцы стремительно продвигались к Львову, отец передал для матери записку, чтоб срочно эвакуировалась.

Офицерским жёнам дали несколько часов подготовиться к отъезду. Все начали быстро упаковывать вещи. А мать собрала какой-то узелок, схватила в охапку моего старшего брата Володю (родился он перед войной — в сороковом году), села в военную попутку и поехала на аэродром — успеть увидеть отца. Как она рассказывала потом, добираясь к своим родителям на Урал в Сарапул, в дороге за три дня съела только головку лука.

В Сарапуле она и работала как врач в военном госпитале. За время войны несколько раз приезжала к отцу на фронт.

А вот один из весёлых эпизодов. Отцу надо было перелететь вдоль линии фронта с одного аэродрома на другой — почему-то на сельскохозяйственном самолёте “Аэропыле”, которые тогда использовались для срочных транспортных перевозок. Жёну взял с собой в кабину. Шёл низко, пытаясь, по возможности, остаться незамеченным; а немецкие самолёты могли объявиться в любой момент. Они и объявились! Вроде, не заметили. А матери именно тогда очень приспичило по нужде...

И так настойчиво, не знаю уж, в каких выражениях, стала она убеждать отца, чтоб он где-нибудь посадил машину, что тот по своему мягкосердечию послушался. Посадил “кукурузник” (как потом условно-неточно стали иногда называть и те самолёты) на опушке леса. Мать отбежала в кусты, вернулась. Они взлетели. И — их углядел лётчик “мессершмитта”, что, видимо, был в “свободном поиске”. Погнался за самолётом отца, а тот, лавируя, стал уходить на совсем бреющем полёте. При таком раскладе атаковать “мессершмитту” было трудно. И тут, к счастью, в воздухе показались два наших истребителя, и немец поспешил улететь...

Дорого моим родителям могла бы обойтись забежка матери в лесной туннел. Я, извините за эгоизм, и на свет мог бы не появиться.

* * *

Об их жизни в Германии знаю мало. Отец служил, ездил на охоту с офицерами. Мать от избытка свободного времени вышивала гобелены. После смерти отца сестра “отжалела” мне мой любимый большой гобелен “Казак в степи”, который я повесил в своём болгарском доме; смотрю на него — вспоминаю о матери.

Это уже мать рассказывала: была у них в Бранденбурге немка-домработница Марта, “изнасилованная” нашими солдатами. Как это случилось? Когда русские вошли в город, пронёсся слух, что всех женщин будут насиловать. Марта разделась, легла в постель и стала ждать. В конце концов явились солдаты, ну и... Дождалась.

Вспоминаются слова из песни Высоцкого: “А у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия... Пришла страна Ливония – сплошная чемодания...”

Ходит легенда, что после войны к Иосифу Виссарионовичу попросился на приём крупный военный чин – генерал-полковник – с письменной просьбой распорядиться, чтоб на границе освободили задержанный вагон с трофейными вещами, которые тот пытался вывезти из побеждённой Германии. И Сталин якобы поставил резолюцию: “Верните полковнику его барахло”.

Тот изумился: “Но ведь я – генерал-полковник...”

“Нет, – презрительно отрезал Сталин, – вы полковник”. Допускаю, что это могло быть правдой. Сталину были свойственны подобные “шутки”.

Хотя так называемые “трофеи” в нашей армии были делом обычным, если речь шла о мелочах (например, ординарец приволок Анатолию Владимировичу ящик найденных где-то наручных часов, что тут же были им розданы в полку), однако за мародёрство тогда, случалось, показательно расстреливали. При одном таком расстреле двух солдат пришлось присутствовать отцу. Он попытался было заступиться за них, смягчить наказание. Но “особистов” уговорить не удалось...

Родители, конечно, привезли кое-что, – не задаром взятое у немцев, но купленное матерью (полагаю, “за недорого”). Из одной красивой чугунной статуэтки ручной работы (старый немецкий солдат с ранцем за плечами и прислонённой к бедру трубой) отец через годы сам соорудил настольную лампу. Сейчас она стоит у меня на письменном столе. Остались германские охотничьи трофеи – рога косуль... Стоит в углу моего кабинета в Москве, упираясь остриём в пол, и действительно трофейная вещь – парадная чуть изогнутая офицерская шпага без ножен. Парадная-то она парадная, но столь великолепно гибкой и хорошо отточенной стали, что могла бы стать и смертоносным оружием в умелых руках.

В 1953-м, в год моего рождения, умер Вождь. Его смерть изменила и жизнь моих родителей. Василия вскоре арестовали (после по милости Хрущёва отправили на жительство в Казань, где он впоследствии и умер от цирроза печени). К отцу претензий не было, его даже не разжаловали, однако за близость с сыном Сталина на всякий случай сослали в Чугуев начальником политотдела лётного училища. Это было очень сильное понижение в должности. “Затерялось” в инстанциях и второе представление к званию Героя Советского Союза (о первом рассказу позже) – за количество сбитых самолётов и боевых вылетов.

Мать, которая тогда была беременна мной, настоятельно попросили перебраться в Москве из генеральской квартиры в жильё поскромнее. Всё это, конечно, печали, однако – невеликие.

За некоторое время до тех событий отцу предлагали отправиться в Корею и ещё повоювать в составе 67-го авиационного корпуса уже против бывших союзников – американцев. Но, полагаю, войнами он был сыт по горло, мать только что перенесла инфаркт, да и Василий не хотел с ним расставаться и удержал. Потом отец иногда жалел об этом. Двое его подчинённых, поехавших на Корейскую войну, затем высоко поднялись... И служба отца могла бы, вероятно, сложиться по-другому. Однако сделанного не вернёшь.

В известной частушке поётся: “По реке плывет топор к городу Чугуеву...” Такой “железкой” под Чугуевом оказался я – двухлетний. Офицеры с женами устроили пикник на берегу Днепра, меня родители взяли с собой. Взрослые сидели, выпивали, разговаривали. Ребёнка пустили на свободу. Затем мать огляделась: а сын-то где? Отец кинулся к берегу и увидел меня под обрывчиком плавающим в холодной воде в осеннем детском пальтишке. Оно

и спасло — не позволило сразу пойти ко дну. Отец спрыгнул вниз и вытащил мою персону за шкуру.

* * *

А вот уже чисто физическое воспоминание. Тоже за шкуру отец поднимает меня, четырёхлетнего, над сдавливающей нас со всех сторон толпой на Красной площади под вечер в День Победы — 9 Мая. И держит у себя над головой на руках. Не сомневаюсь, он хотел показать сыну свой великий праздник, потому и привёл на площадь. Но, если бы вовремя не поднял в воздух, могли бы меня задавить насмерть.

* * *

Если уж заговорил о толпе, помяну и такой момент... Мне лет десять-одиннадцать, большая группа дворовых мальчишек (и я с ними) отправляется на поле у стадиона ЦСКА воровать плитки твёрдого пенопласта из стоявшего там вроде бы без надзора самолёта. Пенопласт — истинное богатство, из него можно вырезать хоть лодочку, хоть что угодно. Двое мальчишек постарше уже безнаказанно вернулись с добычей и теперь ведут “на дело” со товарищей... Вот те же двое забираются в открытую дверцу самолёта и начинают сбрасывать вниз пенопласт. Мальчишки хватают по нескольку толстых плиток... Я для начала скромно беру одну, прижимаю к груди. И тут — откуда ни возьмись — то ли из ангара, то ли из сарая в стороне появляются двое солдат с винтовками и бегут к нам.

Всю гоп-компанию охватывает паника, и мальчишки толпой дают дёру... За ними гонятся солдаты, а я, повернувшись к этому ужасу спиной, медленным шагом со своим пенопластом иду к дыре в заборе неподалёку. Вздрагниваю от выстрела (конечно — в воздух), однако не убистряю шага. И, уже спрятавшись за забором, вижу, как солдаты возвращаются с охапками пенопласта.

Дома во всём признаюсь отцу.

— И что же ты из всего этого понял? — спрашивает он, хмурясь.

— Что не надо бегать со всеми, — отвечаю, — а идти самому по себе...

— Экой ты умный растёшь! — мрачно усмехается отец. — А что воровать не надо — в голову тебе не приходит? Вот теперь иди “сам по себе”, верни украденное на место!

Понимая, что отвертеться не удастся, со слезами на глазах выхожу из дома и хитро выбрасываю пенопласт в поле через ту же дыру в заборе.

* * *

В возрасте сорока трёх лет отец, обиженный чугуевской ссылкой, ушёл “в запас”. На этом закончилась его армейская жизнь. Семья обосновалась в Москве. Отцу дали военную пенсию, мать пошла работать врачом в поликлинику. Памятуя голодные дни войны, она постоянно тревожилась, как бы дети не похудели, и откармливала меня и сестру шоколадными конфетами, что ей каждый день дарили пациенты (если в качестве благодарности пытались дать деньги — швыряла их обратно). Зря она это делала — и одно, и другое... Вообще они с отцом пытались по возможности укрепить впрок вовсе не плохое здоровье своих маленьких детей и по три месяца летом держали нас на море в Анапе, которая славилась как детский курорт. Там нас откармливали большими порциями клубники со сметаной и сахаром. Отправлялись на юг мы с отцом (он был свободен), потом в свой отпуск приезжала мать. У старшего брата были свои взрослые студенческие интересы, и в восемнадцать он уже собирался жениться.

В Анапе отец научил меня плавать, ловить бычков, барабульку, морских и пресноводных карасиков на удочку с самодельным поплавком из гусяного пера. Как-то раз местные рыбаки уже под вечер вытаскивали прямо на пляж

сложенную вдвое длинную сеть с таким количеством кефали, что рыба выпрыгивала из неё. Это было настоящее, как теперь говорят, шоу для курортников, которые ещё оставались на пляже. Люди заходили в воду с двух сторон сети, глазели, пытались поймать руками выпрыгивавшую крупную кефаль. Рыбаки нервничали, ругались. Одну рыбину на лету подхватил отец. И, помнится, её в тот же вечер пожарила нам квартирная наша хозяйка Нина Семёновна.

Ещё помню, как отец в Анапе на улочке у нашего дома дал по морде пьяному мужику, пристававшему к прохожей. Свалил его одним ударом. Без разговоров. Тот долго не вставал, полз в пыли... Это так потрясло меня, пятилетнего, что, как пел Высоцкий, “бить человека по лицу я с детства не могу”. Правда, не могу. А жаль, иногда надо бы... Но и этим – точно – в не лучшую сторону отличаюсь от своего отца. Он – мог.

Так, ещё в 1944 году – в плане мордобоя – с ним приключился опасный инцидент. Подполковник, комиссар полка, только что представленный к званию Героя Советского Союза, отец публично набил физиономию начальнику СМЕРШа (название этой службы расшифровывалось как “Смерть шпионам”). Заступился за девчонку – медсестричку или радистку, которую тот пытался грубо потащить в постель. Вообще в 90-е годы, когда на телевиденье стали появляться различные “чернушные” фильмы, в том числе о лёгкости фронтового секса, отец возмущённо говорил, что подобной “мерзости” на войне не было. Случалось всякое – люди влюблялись, начинались отношения, но в целом и офицеры, и солдаты принимали служивших рядом с ними женщин как своих сестёр...

Вот и тогда он не сдержался... В результате – за драку со “смершевцем” отцу грозил трибунал. Но весь полк поднялся за него, и до суда дело не дошло. Однако то первое представление к званию Героя отозвали.

* * *

Кстати, меня он никогда ни разу не ударил, хотя я и заслуживал. От матери получил в юности пару оплеух. А от него – никогда. Так, для примера, в свою литинститутскую студенческую бытность, собираясь на весеннюю охоту на Брянщину со своим другом Николаем Никишиным, я выпросил у отца его кожаную лётную куртку на меху, память о войне, дорогую для него вещь, и пообещал относиться к ней очень бережно. Погода была мерзкая, несколько километров мы протопали с Никишиным под дождём со снегом – промерзли, вымокли до костей; да ещё пришлось заночевать в лесу. Согрелись у костра водкой, заснули крепко выпившие на еловом лапнике. Куртку я пытался высушить, подвесив у огня. И потом обнаружил её скукоженной и прожжённой в нескольких местах – хоть на помойку... Вернувшись в Москву, пришёл к отцу с повинной: мол, извини, нагадил, но знай, что твоя куртка спасла меня в лесу... Ожидал я от него чего угодно, только не быстрого прощения. А он простил сразу.

* * *

Когда я пошёл в первый класс школы, отец уже работал партийным секретарём военно-строительного управления Москвы (ВСУМ).

* * *

Сейчас, оценивая прошлое, вижу: детство у меня было счастливое.

На своё детство Анатолий Владимирович тоже не жаловался. Одно из его любимых воспоминаний было о том, как со своим старшим братом Женей, моим дядей Евгением, они на лодке подплывали по Днепру к баржам, гружённым арбузами, и стаскивали их в воду длинным багром с изогнутым гвоздём на конце...

Их родная мать умерла рано; её заменила мачеха, по словам отца, по доброму заботившаяся о хулиганистых пасынках.

Об их отце – моём деде Владимире, умершем незадолго до войны, знаю только, что при власти Советов какое-то время служил он начальником тюрьмы в Днепропетровске, а до этого пел в Киевской опере, поскольку обладал

замечательным голосом (то ли тенором, то ли баритоном). Интересная судьба. Почему перестал петь — мне неведомо.

Голос его в большей степени, чем отцу, передался дяде Евгению. Но когда они вдвоём в застолье мужским дуэтом запевали украинские песни (“Дывлюсь я на нэбо тай думку гадаю...” или “Разпрягайте, хлопци, конив...”), выходило очень красиво... Пели и военное, часто — про “стальную эскадрилью”: “Пропеллер, громче песню пой, // неся распластанные крылья...” Потом песня эта помогала мне сдавать экзамены в Литинституте. Я выходил из дома, направляясь на экзамен, а в голове звучало: “За вечный мир в последний бой // летит стальная эскадрилья...” И сам я начинал чувствовать себя “стальным”, несгибаемым, который не может осрамиться.

* * *

До лётного училища отец поработал токарем на заводе, был там секретарём комсомольской ячейки. Участвовал в вооружённых поездках по сёлам — с другими коммунистами и комсомольцами изымал зерно у кулаков, считая это абсолютно правильным. Искренне верил большевистской агитации и советской власти. Потому и был рекомендован в лётчики, когда пришла пора призыва.

Но к доносчикам всегда относился брезгливо.

И сильно мне помог советом в первый год моего студенчества в Литературном институте. Однако не буду лезть, как он говорил, “поперед батько в пекло”, то есть — забегать вперёд.

Полтора года мне пришлось побыть студентом инженерного ВУЗа — Московского автомобильно-дорожного института, который окончил мой старший брат. Отец настаивал, чтоб я получил нормальную человеческую профессию: мол, стихами не проживёшь... Да и в семнадцать лет не был я ещё уверен, что мой жизненный выбор — поэзия. Послушался. Хорошо сдал экзамены в МАДИ. Но очень скоро почувствовал себя несчастным в этом учебном заведении. И тут уже проявил характер: ушёл. Стал готовиться в Литинститут. Отец, кстати, через шесть месяцев сильно удивился, что меня приняли. Но на эти полгода, чтоб я не “бездельничал”, а всё же научился чему-то полезному, он определил меня на работу учеником плотника.

На стройке под умелым руководством своего мастера Владимира Илларионова я неплохо научился выражать матом почти все эмоции и незатейливые мысли, и переучиваться потом пришлось долго. Однако пресловутая в те времена “рабочая биография” сослужила и полезную службу при моём поступлении в “писательский” Литературный институт имени М. Горького.

Именно с рабочей биографии, а также с героического военного прошлого моего отца начал разговор суроволицый человек в сером костюме в кабине заместителя ректора, куда меня вызвали прямо с лекции. Человек этот не таился, сразу же предьявил служебное удостоверение Комитета государственной безопасности и просветил меня, что во всех институтах среди студентов есть люди, которые им помогают.

Неприятно у меня засосало под ложечкой, поскольку моментально понял, в каком направлении пойдёт сие “собеседование”, а всевластие КГБ ни для кого не было тайной.

На моём курсе якобы учился парень, замешанный раньше в студенческих волнениях в университете, откуда он и перешёл в Литинститут... Это сообщил кгбшник и обратился с просьбой-предложением “понаблюдать” за ним: какие у него настроения, высказывания, с кем общается... Ну, и обо всём подозрительном ставить Комитет в известность.

Мой юношеский максимализм требовал возмутиться: вы меня, мол, в доносчики записать хотите?! Стучать на товарища?! Нет! Никогда! Ни за какие коврижки! Но что-то внутри подсказывало: не горячись, не то и тебя в диссиденты произведут, ты всего лишь первокурсник — могут и погнать из института; расскажи обо всём отцу...

Короче, у человека в сером костюме взял я номер телефона, по которому обещал позвонить через две недели. А в тот же вечер явился к отцу с докладом.

Анатолий Владимирович выслушал меня внимательно и очень спокойно, спросил:

– Подписывать он тебе ничего не давал?

– Нет.

– Ну, и позвони ему, как договорились. Встреться с ним. И сыграй под дурачка. Ты, мол, со всей душой... Следил, мол, в компанию втирался, на разговоры о партии, о советской власти раскручивал, хотел скрытого врага выявить... Однако, к сожалению, пока ничего не замечено. И не стесняйся идиотом показаться. Чем глупее будешь выглядеть, тем быстрее они от тебя отстанут.

Так я и поступил. Через две недели позвонил, пришёл в некий гостиничный номер, которым располагал мой знакомец для подобных встреч, и за полчаса сумел выставить себя воистину правозащитным кретином. Подробности, вероятно, могли бы заинтриговать читателя, но это – не тема данного очерка. Больше на предмет стукачества мною не интересовались. Полагаю, на моём курсе нашлись другие...

* * *

Стукачей, как рассказывал Анатолий Владимирович, в своё время он определял по бегающим глазам... Ещё его раздражали люди, подходившие к нему сзади или пытавшиеся разговаривать, стоя у него за спиной. Такое восприятие осталось у него с войны – память лётчика-истребителя: “Не терплю, когда мне заходят в хвост!..”

* * *

Теперь заглянем в 1967 год, в Крым, под Севастополь. Мне четырнадцать лет. Мы с отцом – на морской рыбалке, в лодке, ловим ставриду на “самодур” (снасть со многими крючками с привязанными к ним раскрашенными птичьими перышками). Ставрида в начале августа ещё ловится плохо, и я с позволения отца решаю поплавать ближе к береговым скалам с маской и гарпуном, что он мне подарил недавно.

Глубина – где-то метра три... Вижу на дне, на плоском камне громадного бычка – отличная добыча. Нырять, приближаюсь к бычку, нажимаю на спусковой крючок подводного ружья. Гарпун пробивает рыбу насквозь и отскакивает вверх, ударившись о камень. Раненый бычок забивается головой под скалу, виден только хвост, за который я и пытаюсь его вытащить. Но бычок ускользает под острые зубцы скалы всё дальше, хорошо ухватить его не удастся, и я все глубже просовываю руку за ним... И рука моя застревает, не могу её освободить.

Я запаниковал – у меня кончается воздух... В голове тоскливая мысль: “Вот она – смерть”. Очень жалко себя, жалко и отца, сидящего в лодке. И тут приходит ясность: вырваться надо любой ценой!

Отчаянно – через острую боль – дёргаю и выдёргиваю из-под скалы руку, широко обдирая кожу с мясом... Почти задохнувшись, выплываю наверх. Вся рука в крови. Ружьё осталось на дне. Плыву к лодке.

– Чего так долго под водой?! – кричит мне отец. И вдруг видит, в каком я состоянии...

Пока рассказываю о том, что случилось, он перевязывает мою руку более-менее чистой тряпкой. Смущённо, как мне кажется, качает головой...

– Да-а-а... – говорит, – похоже, ты вырос, мальчик. Это тебе урок: боля бояться нельзя. Если жить хочешь.

* * *

По-настоящему взрослеть я начал позже – примерно к тому времени, когда ушёл из МАДИ, когда появились собственные мысли о происходящем в стране (они сильно расходились со взглядами отца), когда стал осознавать, что стремлюсь быть независимой личностью.

Отца во многом я перестал понимать. Казалось, он слишком жёстко — по-военному — навязывает свои представления о правильном и неправильном, пытается сам задавать мне жизненные уроки и таким образом воспитывать. Чужды были ему и мои поэтические увлечения, хотя мать их поощряла и даже гордилась мной. (Смирился с поэзией он только после выхода моей второй книги.)

Но в свои восемнадцать лет я уже категорически не хотел жить под одной крышей с родителями. На этой почве часто возникали конфликты. И отец решил пойти мне навстречу — отселить.

В своём военно-строительном управлении он мог без проблем получить “на отселение сына” отдельную однокомнатную квартиру. Об этом он сказал позже. Но тогда — специально, чтоб жизнь мёдом не казалась, — поселил меня в двухкомнатной коммуналке, где в другой комнате жила семья — муж, жена и ребёнок. Отец считал, что сыну будет полезно пройти через эти трудности, через такой урок...

“Многие могли бы только мечтать о комнате в Москве”, — были его слова.

Урок действительно был нелёгкий. Соседи, что сами надеялись вселиться в ту комнату, ненавидели меня. Там я прожил пять лет. Туда же привёл свою первую жену — болгарку Иванку, которой и в страшном сне раньше не привиделась бы жизнь с соседями, ненавидевшими и её тоже, с общей кухней, ванной, туалетом и телефоном. Она выдержала.

Но, если и сейчас меня спросить о самом счастливом дне в моей жизни, без колебания назову тот день, когда соседи, родившие второго ребёнка, съехали, и квартира перестала быть коммуналкой.

Надо ли мне благодарить отца за тот жизненный урок, от которого ему было бы легко меня избавить? Говоря честно, — не уверен. Хотя допускаю, что моё творческое воображение стало бы значительно беднее без такого опыта.

* * *

Об Иванке... Володя, мой старший брат, не скрывал, что женитьбой на иностранке я могу испортить ему карьеру. Отец же не сказал мне ни слова по-перёк... Чувствителен был к женской внешности.

Болгарские отцы в деревнях, когда сын собирается жениться, говорят: “Главное, чтоб невестка своим лицом куриц мне во дворе не пугала...”

Куриц Иванка не пугала бы точно — очень она была красива. Мать тоже её приняла.

Родители мои приехали в гости в Болгарию. Помню, как лихо отец плывал в Дунае против течения. Тогда ему было немногим за шестьдесят. И он казался мне безусловно старым.

* * *

Лучше понимать друг друга мы стали во время горбачёвской “перестройки”. Я чувствовал себя уже вроде бы зрелым человеком, постепенно избавлялся от несдержанности в суждениях и словах. Да и отец снизил обороты своей партийной категоричности.

К слову... Встал я на улице в длиннущую очередь за сахаром. Наш с Иванкой сын Анатолий, названный именем моего отца, четвероклассник, был со мной. Выдержал полчаса (очередь двигалась медленно), затем отошёл в сторону, подобрал с земли какую-то толстую щепку, подбежал — сунул свою находку к моему рту, будто микрофон, и, уподобляясь берущему интервью журналисту, громогласно произнёс:

“Папан, — несколько слов о твоей собачьей жизни...”

Люди в очереди покатались со смеху.

Смеялся и Анатолий Владимирович, узнав об этом подвиге внука:

“А ведь прав мальчишка, действительно, жизнь такая — собачья!”

И не пытался, как сделал бы раньше, выступить с назиданиями, мол, надо научить ребёнка по-другому смотреть на временные трудности в стране.

Не сильно ругался он и когда внук демонстративно снял с себя пионерский галстук (возможно, был первым не только в той школе, заявившим:

“Больше я не пионер!”). С дирекцией школы, конечно, мне пришлось разбираться. Но времена менялись. И выгонять малолетнего отступника, который был твёрд в своём выборе, не решились.

Тогда же я сказал отцу:

— Я сам скоро выйду из КПСС, и вот увидишь: придёт час — вообще запретят эту партию.

— Такого не может быть и не будет! — возмутился он. — Мы жизнь за неё отдавали!

И как же был он поражён после прихода Ельцина моей правотой: запретили коммунистическую партию! Правда, ненадолго — на год, если память не подводит.

— За что же ты сражался? — жестоко уязвил я отца в то время в одном споре. — Нет больше ни Советского Союза, ни Советской власти, ни партии.

Он задумался на минуту:

— Выходит — за Родину.

* * *

А вот урок, за который я всегда буду благодарен отцу... Это моё личное знакомство с живой легендой — Алексеем Маресьевым, героем “Повести о настоящем человеке”, лётчике, с протезами вместо обеих ног управлявшем на войне боевым истребителем. Причём до своего ранения и ампутации ног он сбил три вражеских самолёта, а уже с протезами — семь. Пишу об этом, поскольку даже в России многие молодые люди сегодня не знают, кто такой Алексей Маресьев.

Ещё до Литинститута я написал в стихах об удивительном для меня случае. Копая котлован под фундамент жилого дома в подмосковном посёлке Апрелевка, экскаваторщик наткнулся на сбитый немцами в 1941 году самолёт, зарывшийся при своём падении в рыхлую землю. В самолёте нашли останки лётчика. И только по номеру ордена, который был на нём, удалось выяснить имя погибшего: Василий Пойденко.

Этот лётчик, считавшийся без вести пропавшим, был из полка моего отца, и они вместе летали в воздушные бои, обороняя Москву.

О Василии Пойденко и о войне была моя небольшая поэмка, юношеская, ещё очень непрофессиональная, слабенькая... Но тогда я этого не понимал и хотел где-то опубликовать. Показал отцу. Он, в принципе не любивший стихи, но одобряя тему, всё же подсказал поправить кое-какие неточности и послал меня в Совет ветеранов к своему знакомому Маресьеву: “Может, Алексей Петрович твоё произведение порекомендует куда-нибудь... Или как-то оно пригодится...”

В кабинете Маресьева я увидел пожилого человека в строгом тёмно-синем костюме и в грубоватых чёрных ботинках. “Протезы...” — догадался я. Действительно, об этом можно было только догадаться. Потому что Маресьев спокойной, ровной походкой расхаживал по кабинету, пока я говорил о своей поэме. В нём чувствовалась большая внутренняя сила и какое-то ненавязчивое — скромное — величие.

Прав был отец, подумал я, “боли бояться нельзя, если жить хочешь”.

Полчаса Маресьев потратил на меня, мальчишку, — передал привет отцу, взял рукопись: “Посмотрим, что можно будет сделать...”

Поэмка нигде не пригодилась, и хорошо. Иначе потом было бы мне очень стыдно.

* * *

Говорить о том, что скажу сейчас, я не собирался. Хотел промолчать. Однако поделился в застолье со своим молодым другом Павлом Трапезниковым идеей написать этот очерк, и тот, помнящий моего отца, с горячностью заявил: “Если не расскажешь о брате, перестану тебя уважать!”

Страшная угроза Паши заставила меня призадуматься. Может, действительно, не стоит пытаться скрыть жизненную историю, которая кому-то покажется не рядовой, кому-то, возможно, — интересной...

Короче говоря, мой старший брат Владимир оказался по крови не родным, как я думал всегда, а двоюродным братом – сыном моего дяди Евгения от женщины, которая умерла при родах в 1940 году во Львове.

Дядя был военным человеком – сапёром – и в тот момент находился где-то в другом месте. Сапёр, как известно, ошибается один раз в жизни. И он не ошибся, обратившись к отцу с просьбой поговорить с моей матерью – забрать новорождённого и дожидаться его возвращения во Львов. Затем он планировал временно пристроить ребёнка в какой-нибудь детский дом, поскольку офицер на службе никак не смог бы сам заботиться о малыше. Представляю себе, как было тогда на душе у дяди.

Отец с матерью выполнили его просьбу. Но, когда тот приехал за сыном, мать сказала, что ни в какой детский дом и никому они этого ребёнка не отдадут – усыновят его. Полагаю, дядя Евгений тогда вздохнул с облегчением. И они договорились: мальчик никогда не должен узнать, что Евгений его настоящий отец, а мои родители по сути – дядя и тётка.

Договорённость соблюдалась абсолютно. Володя всю жизнь считал моих родителей своими папой и мамой, а Евгения – дядей. И до сих пор считает их – всех уже ушедших – такими.

Тайну эту мать перед своей смертью открыла моей сестре и попросила молчать. Я не знал ничего. Уже после смерти отца нашла сестра документы об усыновлении Владимира, который был и остаётся нашим братом. Возник вопрос: сказать ли ему? Сестра посоветовалась со мной, и мы после многих колебаний решили: нет, не надо. Пусть всё будет, как есть. Не нужна ему эта информация, что может оказаться болезненной. Решили за него, сами. И документы уничтожили. Возможно, это наша ошибка, наша вина. А может быть, и нет.

После Победы дядя женился на женщине (моей тёте Тамаре), у которой в войну под бомбами погибли муж и двое детей. Трудно, наверное, подняться после такого удара. Она смогла. И во втором браке была счастлива. И родила ещё двух дочерей. Вот – сила жизни, так думаю.

И всегда думал: до чего же Володя похож на моего дядю! Копия. До такой степени, что в юношеских неумных мыслях своих я иногда грешил на мать: уж не от дяди ли Евгения родился мой брат?..

А любовь между ним и дядей была обоюдной. Они отлично общались, с удовольствием проводили время вместе – ходили в лес за грибами, веселились по праздникам, часто с отцом и ещё с кем-нибудь из друзей семьи “расписывали пульку”, то есть играли в преферанс (жалко, меня этой карточной игре не научили). Бывало, брат советовался не только с отцом, но и – отдельно – с дядей о своих планах и проблемах.

Никогда дядя не подал вида, что Володя для него – больше, чем племянник. И для отца он был настоящим кровным сыном.

Не уверен, что поступаю правильно, делясь этим с читателями. Одно меня утешает. Презентовать эти записки брату я воздержусь. Вряд ли иным путём очерк попадёт к нему в руки, поскольку у него своих забот, помимо моего творчества, хватает. А если вдруг и попадёт, то что ж... Говорят, “всё тайное когда-нибудь становится явным”...